18+

Александр Миронов

Человеческий фактор

Сборник рассказов — 1

Александр Миронов

Человеческий фактор. Сборник рассказов – 1

«Издательские решения»

Миронов А.

Человеческий фактор. Сборник рассказов – 1 / А. Миронов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-858511-1

Человеческий фактор — он всегда присутствует в нас. В любых ситуациях: на службе, в быту, в семье. Он предопределяет наше поведение и определяет поступки. Одного он возвышает над обстоятельствами и ведёт на подвиг, другого — наоборот, лишает достоинства, понуждает совершать мелкое, подленькое.Человеческий фактор — это наше внутреннее Я. Оно живёт в нас таким, как мы его воспитаем, оно так и будет диктовать нам поступки.

ISBN 978-5-44-858511-1

© Миронов А.
© Издательские решения

Содержание

Зов тальянки 7
Последняя просьба 12
I 13
2 16
3 19
4 22
Ксюшина родня 25
Отпускница 27
1 27
2 29
3 31
4 33
Твист 35
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Человеческий фактор
Сборник рассказов – 1

Александр Миронов

© Александр Миронов, 2017

ISBN 978-5-4485-8511-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero





За участие в Лит. Кокурсе «Герои Великой Победы» Диплом и медаль «Никто не забыт!

Зов тальянки

Яков Иванович Седых не имел ни одной награды, хотя все четыре года он был на войне, варился в её горячем котле, погибал и чудом воскресал. Это уж потом, с годами, стали ордена и медали слетаться к своему герою, украшать его грудь. А до этого, с войны… похоронка за похоронкой, сохранившиеся у родных на божничке, за иконкой – всё его отличие за ратный труд.

Первую похоронку семья получила в августе сорок первого. В ней сообщалось, что Яков Иванович Седых погиб смертью храбрых в Белоруссии, на высоте 148,7. Яков Иванович и в самом деле был в том бою, но смерть его не взяла. Полуживого солдата спасли местные жители и выходили. А потом партизанский отряд, где Яков Иванович также воевал и где тоже был не раз на грани жизни и смерти. Позже, контуженным, он попал в плен, а затем перемещён в концентрационный лагерь близ города Штокенброк. И потянулись долгие дни и месяцы в мытарствах по лагерям: немецким, а после победы – американским и советским…

В конце сентябре тысяча девятьсот сорок седьмого года по дороге, бегущей меж широких полей, невысоких лесистых взгорков, через тёмные овраги, пахнувшие прелью и прохладой, шёл человек. Шагал, не торопясь, с посохом из сухостоины в руке и с тощим вещмешком за спиной. Одет он был в шинель, в гимнастёрку, в солдатское галифе и в сапогах. На голове шапка с пятном от звезды. Путь его был долгим, и он, похоже, уже притомился. После каждого километра пути путник приостанавливался, присаживался на какой-нибудь пенёк или сушину и задумчиво курил, оглядывая знакомые и призабывшиеся места родины.

Особенно долго сидел он на берегу Тугояковки под раскидистой ивой, что нависла над речкой. Долго они манили к себе, жили в памяти. Подтапливали сердечным теплом, пылкой нежностью и страстью. Здесь, под этими ветвями, спряталась их первая любовь… А любимая, желанная осталась ждать его в деревеньке Сураново. Сколько песен здесь было спето под звонкую гармонь, развесёлую «Тальянку». И эта память звала и звала…

В доме старой Амосихи шло веселье. Она выдавала дочь замуж во второй раз. День катился к вечеру, когда на лавку у заплота присел притомившийся путник. Положив палку на ноги, он достал кисет и, не торопясь, стал скручивать цигарку. Из дома из открытых окон доносились голоса, а кто-то зычно, перекрикивая всех, доказывал, что у него вино горше, чем у других.

– Нужно подсластить! Анна, Игнат – горько!

– Горько!..

Молодые, видимо, стеснялись и долго не могли выполнить просьбу. Но потом голоса ненадолго стихли, и вновь оживление с одобрительными возгласами:

– Молодцы!.. – что означало всеобщее удовлетворение.

Из воротец часто появлялись соседки и бежали по домам. Возвращались обратно кто с чем: кто со стряпней, кто с овощами, кто с самогонкой. Прохожий старался на них не глядеть, чтобы не смущать сельчан своим присутствием. Сидел понурый, погруженный, как видно, в невеселые думы.

Однако он не остался незамеченным. Видимо, кем-то предупрежденная, мать невесты, старушка, худенькая телом, добрая душой, сама вышла к нему и упросила войти в дом, не погнушаться столом и разделить их радость. Тот начал было отказываться, дескать, он тут случайно, у него дальний путь и неудобно стеснять честную компанию…

Но его возражение ещё больше распалило старушку.

– Случайный прохожий, касатик, – это к счастью. Примета такая.

Прохожий согласился, но с одним уговором, чтобы хозяйка не сажала его со всеми за один стол, а угостила где-нибудь в кухне.

За перегородкой под часами-ходиками сел гость на крашенную лавку. Шинель, шапку повесил у входа на вбитый в стену деревянный костыль, там же оставил вещмешок и палку и теперь, повернув седую голову к простенку, смотрел на семейные фотографии в деревянной рамочке, некогда умело вырезанной мастеровой рукой хозяина, давно покинувшего этот дом.

Хозяйка поднесла граненую стопку, поставила пельменей в глиняной чашке и тарелку салата из наструганной свежей капусты с луком.

– Выпей, касатик. Выпей за здоровье молодых и закуси.

– Спасибо, мамаша. За здоровье, так за здоровье.

Голос у гостя глухой, сипловатый, как у простуженного.

Выпив, он поморщился.

– Ну, вот и хорошо, – похвалила старушка. И спросила: – Ты вот назвал меня мамашей, а сам-то намного ли младше будешь? Как прозывают?

Тот замешкался было, ткнул вилкой в капусту.

– Иваном, – ответил гость. И, чуть помедлив, добавил: – А старят, мамаша, не только годы.

Она понимающе, по-утиному покивала головкой, повязанной в платочек, и заторопилась.

– Ну, ты, касатик, кушай. Што надо, я тут.

Гость ел не спеша. Хлеб отламывал кусочками от ломтя, клал в рот и жевал его медленно. Также медленно ел пельмени.

Предоставленный самому себе, гость вновь погрузился в просмотр домашних реликвий.

– …Эй, дядя, ты часом не оглох?

Гость очнулся и медленно повернул голову. Старушка стояла перед ним с наполненной стопкой.

– Выпей, касатик, ешо… – сказала и осеклась. В глазах «касатика» стояли слёзы.

– Спасибо. Больше не могу, – и кивнул на фотографию, где стояла пара молодых первого брака. – Дочка-то за второго выходит?

– За второго, касатик, – ответила хозяйка, приложив к губам уголочек передника.

– А где же тот?

– Игде? Там, на войне где-то… Хороший малый был.

– Погиб, значит?

– Погиб. – Она тяжело вздохнула и быстро-быстро заморгала, сгоняя с глаз слезу.

Вышла на кухню невеста. Красивая, ладная, с голубыми глазами – как небо! – в светло-синем ситцевом платье… У Ивана зашлось сердце, смежились веки.

Невеста глянула на седой ежик незнакомца, на изрытое оспой и старостью лицо и вначале будто бы притихла, словно натолкнулась на что-то знакомое. Однако согбенная, тощая фигура в полувоенной форме отогнала смятение.

– Ты пошто не пляшешь, Аня? Аль подать чего надо?

– Нет, мама. Ничего не надо. Душа моя неспокойна. Вот как будто какая тревога мает что ли… Нужна была эта свадьба… – отмахнулась с грустью.

– А как же, Анюта?..

– Эх, мама… – Анна прижалась к матери, поцеловала в голову. – А плясать-то тут не под что. Нет моего игралюшки, и никто не постелет мне пол красным бархатом… – и, пошатываясь, вышла на улицу.

Старушка всхлипнула в передник, отёрла глаза и сказала гостю:

– Плоха у нас ноне свадьба. Через силу. А выходить ей надо. Малый без отца растёт, дом жухнет. Тут путный мужик нужен, здоровый. – И вдруг спросила: – Сам-то ты чей? Откуда и куда идёшь?

Гость задумчиво ответил:

– С войны иду.

– Дык она когда закончилась.

– Война-то кончилась, да не для всех разом. Кое-кому пришлось и после войны за себя повоевать. В плену я был у немцев. Потом у американцев. Фашисты – в тифозных бараках морили, те – душу мотали. Потом свои разбирательство вели почти полтора года. Вот оттого и призапозднился.

– Ну, а семья-то есть?

– Была… когда-то… – гость замялся. – Хожу, ищу.

Старушкины глаза всё зорче приглядывались к незнакомцу, и тень не то недоумения, не то сочувствия проходила по её лицу.

– А скажи-ка мне, касатик, может ли быть такое, чтобы человек на войне пять разов погибал?

– Может, мамаша. Может. И пять, и десять…

– И в живых остаться?

– Всякое может быть… – пожал он плечами, глядя в окно – во дворе у черёмухи стояла невеста. Он вздохнул и добавил: – На войне чего только не может быть…

В горнице плясали под «хромку». Гармонист фальшивил, то сбивался, то затягивал такт, а то и просто наигрывал на одних басах.

– Неважнецкий игрок, – заметил гость.

– А, Ромка, Ефима сынишка, играт. Не умет ладом. Сам-то Ефим не может, руки нет. – И с грустью добавила: – Наша-то «тальянка» сколькой уж год без хозяина скучат. А бывалыча… – Сверкнула влажными от нахлынувших воспоминаний глазами.

Вышел жених. Невысокого роста, но ладно скроенный крепыш. Недурен лицом. В костюме, в петлице которого сидела головка белой розы, едва начавшая распускаться. В хромовых сапогах.

– Ма, где Анюта? – спросил он, снисходительно глянув на «шилом бритого» незнакомца, дескать, пусть потчуется, коль зашёл.

– Во двор вышла, – кивнула старушка в сторону выхода.

Игнат вышел в сенцы и, протопав чечёткой по ступенькам крыльца, подошёл к Анне. Его рука было приобняла за плечи невесту, но она отстранилась.

Гость отвернулся.

– Так говорите, мамаша, некому сыграть на «тальянке»? – вдруг спросил он.

– Нет, касатик, некому. Счас всё на трехрядках наяривают, да на гитарах.

– А если я попрошу, дадите попробовать? – и, видя, как хозяйка не то растерялась, не то засомневалась, добавил: – Когда-то, помнится, играл. Может, и сейчас не оплошаю. Может, и харч ваш оправдаю, повеселю компанию.

– Так пошто, касатик, нельзя? Попробуй. – Она с оглядкой на гостя пошла в горницу и через минуту вернулась со сверкающей перламутром гармонью.

Гость принял её, нежно огладил бока. Глаза его заблестели. Осторожно расстегнул мехи и, надев ремень на плечо, пробежал по кнопочкам голосов узловатыми пальцами. Смежив веки, склонился ухом к инструменту. Гармонь растягивал медленно, чтобы только самому слышать поющие звуки.

Заслышав слабый перебор, тихую мелодию тальянки, из горницы стали заглядывать любопытные. И с интересом и ожиданием они посматривали на незнакомца, дивясь тому, что отыскался-таки человек, умеющий играть на некогда горячо любимой за весёлый нрав гармони, теперь забытой, оттеснённой трехрядками и гитарами, а большей частью – по причине гибели на войне задорных игроков.

Пальцы плохо слушались. Чувствовалось, что человек давно не брал в руки гармони, не спешил, осваивал, привыкал к кнопочкам. Пожилая хозяйка стояла у русской печи, сложив руки на худой груди. С чувствительным ожиданием вслушивалась в нестройные звуки – мелодия будоражила память.

Потом послышались звуки задорной «Семеновны».

Тут выбежала из горницы бойкая на острые частушки бабёнка, гость по голосу узнал её, и потянула гармониста в горницу.

Плясали все. Пела и задорно отбивала каблуками Варвара – так звали песенницу. В паре с ней топал «громогласный» мужик, бухая сапогами. Пустой рукав военной гимнастерки, выскочивший из-под ремня, мотался из стороны в сторону. Ромка, мальчик лет тринадцати, притих возле ожившей «тальянки» и с жадностью и завистью следил за пальцами гармониста.

В горницу вошла Анна, и в растерянности или в предчувствии чего-то необычайного остановилась у косяка двери.

Как только «тальянка» стихла, Анна подалась вперёд, толкнула память на зов «тальянки», но гармонист отвернулся.

Варвара не дала поставить «музыку», присела перед гармонистом горлицей и, обняв гармонь, словно воркуя, стала приговаривать:

– Дядя Иван, милый, дорогой, поиграй, поиграй ещё. Так давно от души не плясали, не пели. Будь ласка, а?

Её хмельной бархатный говорок будто тронул сердце музыканта, и он согласился.

Уловив мелодию, Варвара запела первой:

То не ветер ветку клонит.
Не дубравушка шумит…

Песня ещё не закончилась, когда Анна присела перед гармонистом, приобняв «тальянку». Но тот вдруг встал, сдернул с плеча ремень и поставил гармонь на свой табурет. Чуть заметно поклонился, попрощался с публикой и, сутулясь в неловкости за причинённое беспокойство, вышел из горницы.

Старушка, вытирая передником глаза, норовила остановить гостя. Старалась перехватить его взгляд, чем-либо услужить, лишь бы услышать от него ещё хоть одно-единственное слово. Ей казалось, что прежде она недопоняла, не уловила чего-то такого, что помогло бы ей разгадать этого человека.

Анна вышла на кухню. Сквозь туманную зыбь следила за незнакомцем, припав грудью к углу печи. И суета матери, и поспешность гостя – как наваждение, как сон. И нет сил вмешаться, остановить путника. Оторопь и тревожное чувство чего-то неуловимого, но до боли ранящего сердце, отняли их.

Незнакомец вышел из дому. Опираясь на палку, торопливо прохромал через двор и скрылся за воротами.

Мать невесты растерянно оглянулась, удивлёнными глазами обвела гостей, сгрудившихся у дверей горницы и на кухне, остановила недоуменный взгляд на дочери, как бы спрашивала: что это было и кто это был?.. Анна стояла, не замечая ни жениха, пытающегося отвлечь её, ни гостей. Она смотрела в окно на удаляющуюся сутулую фигуру.

– Аня! – вдруг вскрикнула мать. – Анна?!.

И этот крик, как толчок, вывел дочь из оцепенения. Сердце всколыхнулось. Безрассудно повинуясь его силе, его порыву, выбежала из дома. Мелькнула за окном и, разметав где-то за оградой туфли, бежала босиком по пыльной дороге.

– Яша-а! Яшенька-а!.. – услышал Яков Иванович за спиной и обмер.

Голос был тот, родной, который слышался во сне, в бреду, что грезился наяву, заставляя бороться, требуя выжить. Голос, на зов которого он столько лет шёл, который долго ждал и жаждал услышать. И вот он! Остановись, обернись…

Яков Иванович будто попал в бушующий поток. Ноги с трудом повиновались, и что ни шаг, то тяжелее идти. Дорога волнами текла навстречу, играя рябью. Но он упрямо шёл, надеясь, что человек, его зовущий, отстанет от него, поймёт, что ошибся. Какая он теперь ей пара, такой красивой, молодой…

– Яша-а! – женщина догнала и повисла на его плечах.

И он вдруг почувствовал, что нет сил сопротивляться, нет сил оттолкнуть. Опьяняющая покорность вязала по рукам и ногам.

– Ты… Ты, Яша! Наконец-то…

«Зачем? Зачем?» – вспыхивала в сознании трезвая мысль и тонула, вязла в затуманившемся мозгу.

– Я только повидать… тебя… сынишку… Я догадывался, что он есть. Хотел увидеть вас хотя бы издали…

– Яша! Ах, Яшенька! Чудак мой долгожданный… – Она глядела на него, плача и смеясь, целовала впалые глаза, изрытое оспой лицо, шрамы.

– Нет, нет, Аннушка! Я теперь не тот, какого ты ждала. Ни молодости нет, ни здоровья…

– Яша, Яша, что ты говоришь? Родной мой, я тебя ждала любым. Больного – вылечу, раненого – выхожу, а старость сама от нас отступит. Пойдём, пойдём домой… – И повела.

Они пошли, покачиваясь, пьяные от счастья.

На этот раз Яков Иванович сдался в плен добровольно.

Последняя просьба

Все меньше, меньше, меньше нас.
И как на мир посмотрят люди,
Когда средь них в какой-то час
Уж никого из нас не будет?
В. Жуков

Памяти
Максименко Дмитрию Ефимовичу.

Я сидел у его постели.

Был полдень. В окно второго этажа больничного корпуса, что находится в квартале «А» МСЧ (медсанчать) города Ангарска, стучали зелёными ветвями тополя, и солнце, пронизывая молодые листочки, зайчиками переливалось на полу, от этого в палате было светло и по-весеннему празднично.

Он лежал на подушках слегка приподнятым. Волосы его сливались с белизной наволочек. Сухие руки в старых шрамах от ожогов вытянуты вдоль тела поверх одеяла. Лицо бледное, и от этой бледности отчётливо были видны тугие жгутики от перенесённых когда-то операций. Нос обострился. На кончике его, ближе к губе, небольшой клиновидный нарост, словно накипь. Подбородок, скулы и щёки обтянуты сухой кожей. И вообще, тело его приковывало к себе внимание, но там, где вместо кожи была морщинистая, как целлофановая бледно-розовая плёнка, отпугивало взгляд.

Говорил он негромко, и не торопясь.

– С нетерпением жду 9-е Мая. Меня должен поздравить дорогой моему сердцу человек. Ты уж исполни мою просьбу, принеси её весточку.

Я с полным согласием кивнул.

– Да-а. Скоро день Победы. Единственное чего бы я хотел, чтоб стал он последним в календаре и в жизни нашей. Чтоб вы видели его только в праздничных фейерверках и золоте иллюминаций. Грустно конечно сознавать, что наше поколение, несмотря на все усилия, оставляет вам в наследство и тревогу за будущее. Боритесь за мир! Всеми силами. Чтобы не довелось вам перенести того, что пережили мы, – он на минутку примолк. Потом глубоко вздохнул, как будто решился на что-то тяжёлое, томительное, сокрытое в глубинах памяти. Спросил: – Ты как-то просил меня рассказать о войне?.. – (Я кивнул.) – Ну что же, кажется, пришло время. Оттягивать некуда, – и он начал не спеша рассказывать.

I

– После госпиталя попал я в тыловую интендантскую часть. Команда эта состояла из сапожников, скорняков, швей, прачек – женщин молодых, красивых. Вообще, война научила мужчин видеть красоту даже в некрасивых женщинах, острее чувствовать молодость, ощущать их притяжение. Мужская часть личного состава подобралась далеко не юношеского возраста, под пятьдесят, а то и старше. Деды, как говорил Хворов Демид, единственный мужчина тридцати лет, сутулый, желтушный, в очках, лицом тоже не красавец, но если поставить рядом со мной – то парень хоть куда. Я в то время представлял такое зрелище… Увидишь во сне – содрогнёшься. Я сам себя боялся, а каково, в общем-то, мирным полувоенным людям?..

Деды сочувствовали мне, в их глазах поблёскивала отцовская боль, и к их молчаливому состраданию я притерпелся. А вот жалость женщин… Это, брат, такая мука. Их взгляды – это зеркало души. Всё в них увидишь и всё поймёшь. И никакие ордена и медали тебя не спасут, не скрасят твоих увечий. И я с отчаянной решительностью стал добиваться отправки на фронт. Там, на фронте я всё разом решу!

Кажется, после третьего рапорта меня отозвали из части. Попал я в танковое училище, где много было курсантов уже понюхавших порох, дымок топлива и прочувствовавших жар нагретой брони. На душе стало легче, – я в родной стихии.

До войны я, почти три года, водил КВ, а в сорок первом – Т-34 довелось. Потом знал, что готовят нас для фронта.

С учёбой, надо сказать, я всегда был в ладах. Математика, физика мне давались легко, в вождении опыта не занимать, так что училище я окончил довольно успешно, и по этой причине чуть было не испортил себе всё дело. Хотели оставить при школе! Стал писать рапорт на имя начальника училища, полковнику Минашкину. Но он был, как всегда, краток: отказать! Его заместитель по кадрам и слушать не хотел; училищу тоже нужны толковые офицеры! – и весь сказ. И к кому бы я ни обращался, все мои усилия были напрасны. Уж хотел было писать в наркомат.

Но мне все-таки повезло. Дожидаясь приёма к начальнику училища, разговорился я с его адъютантом. До этого мы были почти не знакомы, но он, как я понял, заприметил меня по моему «портрету». Поговорили мы с ним всего-то минут десять, а надежда возгорелась во мне преогромная. По секрету он шепнул, что полковника нашего отзывают на фронт, так что, мол, есть у тебя шанс вместе с ним со школы выехать. Нет, есть на свете люди не лишённые чуткости. И в этом я не раз убеждался. Взять хотя бы того же адъютанта.

Стою перед Минашкина навытяжку, в напряжённом ожидании не моргну: что же он на сей раз скажет? А он читает мой рапорт, – может просто так в него смотрит, ведь не первый, уж наизусть, поди, выучил, – и ни слова. На терпеливость меня что ли проверяет? Да только что меня проверять? Я за шесть месяцев госпиталей и интендантской роты такого натерпелся, а уж молчание…

Отложил он рапорт и спрашивает!

– Неужели вам, товарищ лейтенант, не хватило того, что вы уже перенесли?

Я даже растерялся: вопрос не по существу и неожиданный. Ему-то какое дело? И я выпалил, скорее от отчаяния:

– Если вы, товарищ полковник, меня не отправите на фронт, – говорю, – я вам здесь всех курсантов распугаю. Они, как только увидят меня, танки обегать десятой дорогой будут. Не подрывайте, товарищ полковник, танковую мощь Краной Армии…

Полковник усмехнулся, но ответил серьёзно.

– Я понимаю, вам не терпится попасть на фронт. Не терпится, чтобы поскорее погибнуть, чем жить с такой уродливой внешностью. Вот именно поэтому я не хочу вас отпускать из училища. Поэтому, – подчеркнул. – Это крайность, а не мужество воина. Вы в бою будете одержимы только своим личным стремлением, при котором могут пострадать десятки людей скреплённые с вами воинской присягой, а в результате и наше общее дело – Победа! Так что, лейтенант, ко мне с рапортом не обращайтесь. Ждите, когда потребуется жизнь, вернее сказать, смерть отчаявшегося одиночки.

Не знаю, изменился ли я в лице, если его можно так назвать, но в глазах у меня помутилось. Как сквозь вату слышу.

– Идите сейчас в казарму и подумайте над тем, что я вам сказал, – немного подумав, добавил: – В 17^{00} жду вас тут же.

Разговор наш был перед обедом и стоит ли говорить о том, что и передумал за те пять часов, что дал мне полковник на размышление. Но одно могу сказать: можно человека грубым словом сломать, а можно… можно поставить на место, смотря потому, какой выбран угол атаки, как говорят пилоты. Так произошло и со мной. Я своей болью, неожиданным уродством был выбит из колеи, и отчаялся. Ещё в госпитале я возненавидел себя. Ещё там хотел покончить с собой. Но благодаря Марине Андреевне, обаятельнейшему человеку, о котором обязательно расскажу – ты должен знать о ней, – я остался жив. Да, друг мой, благодаря ей… И во мне, как нарыв, созрело жгучее желание – попасть на фронт! Но командованию как будто бы кто-то нашептал на ухо. Весь год гоняли меня по тылам и госпиталям, и даже теперь, когда я прилежанием, выучкой заслужил право на свой выбор – и тут произошла осечка!

После разговора с Минашкиным я отогнал мысль о самоубийстве. Ведь даже в бою, если ты бестолково лезешь под пули – тоже самоубийство. Я был решительным, настойчивым, идя к своей цели, но всё это шло от отчаяния. Со мной было то, что электрики называют: сдвиг по фазе. Пример банальный, но другого не могу подобрать для сравнения. Много людей пыталось устранить во мне эту неисправность, но только ещё больше вредили. Нужны были: испытание временем, душевное напряжение и верный мастер. Видимо всё это, как раз и сошлось воедино в конце апреля сорок третьего.

В 17^{00}, подходя к штабу училища, я увидел машину, возле которой находились: полковник Минашкин, какой-то незнакомый подполковник с рукой на подвязке, майор Лейлин, заместитель начальника училища по кадрам; два капитана, особист и зам по строевой подготовке. Адъютант и два командира учебных рот стояли за ними. Увидев полковника среди офицеров, я растерялся.

«Уезжает! Мне теперь отсюда не выбраться…» – закружились тоскливые мысли в моей голове.

Как только я подошёл, Минашкин повернулся ко мне и спросил:

– Как ваше самочувствие, лейтенант?

Я хотел было ответить, уже вытянулся, но он вновь спросил:

– На фронт?

– Так точно! – выдохнул я.

Его внимательные глаза, казалось, просвечивали меня насквозь. И не ответ, а, наверное, то, что он увидел в моих глазах, что сумел высветить в моей душе, удовлетворило его. Он едва уловимо улыбнулся,

– Иосиф Абрамович, – обратился полковник к Лейлину, – выдайте лейтенанту документы. Он поедет со мной.

Полковник Минашкин, – как предполагали в училище, – примет полк, и я тешил надежду, что буду служить под его началом, – был оставлен при штабе армии в оперативном отделе. И всё хорошее, начавшееся с него, во мне будто бы приугасло. Но он на прощание ободрил меня:

– Ну, лейтенант, не мелочись. Возьми на ноту выше. И не раскисай. Не ты один такой, вся страна в ранах. Крепись. А война кончится, там и за себя возьмёшься. Хирургия у нас неплохая, приведут тебя в божеский вид.

На том мы и расстались. Долго, почти до самого конца войны я больше его не видел. А когда увидел… Когда увидел, был уже не рад такой встрече.

Мой батальон после боя стоял на отдыхе. Я получил приказание явиться к командиру полка, как выяснилось: для уточнения последующих действий. Впереди была Прага.

На одной из улиц чешской деревеньки мой «виллис» притормозил: двигалась траурная процессия и, когда артиллерийский лафет поравнялся со мной – я обмер! На нём стоял гроб с телом генерала, которого я сразу узнал. Я отдал честь и, когда отъехал, почувствовал на щеках слезу.

На войне часто приходится терять знакомых, друзей. К смерти привыкаешь, вернее, с ней смиряешься, как с неотвратимым, пред чем ты и все, кто тебя окружает, бессильны и уязвимы. Но смерть человека, с которым свела судьба в нелёгкие военные будни, сроднила душой, мыслями; который обогатил тебя нравственно, спас от удушья мелочных переживаний; который стал для тебя что родитель – вдвойне трагична. Такая утрата, как вспышка молнии, как удар в спину. И моё сердце в который раз омылось горькой волною.

До призыва в Красную Армию, я окончил десятилетку и был влюблён в свою одноклассницу Ганну. Может быть, мы и поженились бы, но на беду нашу её и мои родители были в кровной вражде: мои – пролетарии, отец коммунист и активист; её – зажиточного сословия, раскулаченные. И по этой причине, нам хоть из села убегай. Жили на одной улице, учились в одной школе, а дружить не имели права. Правда, моя мама, Авдотья Никитична, потворствовала нам незаметно от отца, но держала в строгости. Не так-то просто было убежать вечером, тем более – знают твою дорожку. В будни и проситься не смей. Натомишься за неделю, наскучаешься, но зато в воскресенье летишь на свидание и на седьмом небе от счастья. Ещё не видишь её, а сердце уже заходится. И не знаешь, чего больше боишься, то ли охватившего волнения, то ли предстоящей встречи с любимой… Оказавшись на фронте, мною овладело такое же чувство. Страх, отвага, надежда и неизведанность, как во влюблённом, так и в воине, нанизаны на один стержень.

2

О войне, о боях написано много. И я думаю, что тебя не очень-то заинтересует моё к тому дополнение. Поэтому я рассказываю только о том, что коснулось горячей волной моей души и сердца. И не удивляйся, что я часто делаю переход из одного времени в другое. Вся наша жизнь была спутана в один клубок, и за какую ниточку сейчас не потяни – вытянешь не петлю так узел…

Судьба, как в награду за все мои муки и страдания, несказанно порадовала меня в первый день прибытия на фронт. Вновь свела с дорогим моему сердцу человеком и уж до конца войны не разлучала, кроме тех периодов, когда ранения вырывали нас из строя.

До войны, как я уже упоминал, я почти отслужил действительную службу. Осенью сорок первого кончался бы мой срок. К этому времени у меня уже всё определилось и подходило к стадии свершения. Что касается дальнейшей трудовой деятельности, то была мне прямая дорожка в танковое училище. Ганка ждала меня и, когда я отписал ей о своём намерении, была согласна стать женой командира.

В полку, где я служил механиком-водителем, был взводным молоденький лейтенантик. Почему говорю «молоденький», потому что выглядел он молодо относительно других командиров, росту небольшого, тоненький, усики жиденькие белые, и темпераментом – ну никак не скажешь, что ему двадцать. Но, несмотря на молодость, его уважали во взводе. Была в нем неподдельная ребяческая строгость и уважительность к личному составу.

Звали его – Семён Семёнович Бобров. Иногда, не соблюдая воинского этикета, мы к нему так и обращались. Не обижался. И то, что мне предстояло танковое училище, была немалая заслуга и Семёна Семёновича, он настаивал и рекомендовал.

Перед училищем, по приказу командира полка, я должен был ехать домой на побывку. Но день ото дня мой выезд задерживался, оттягивался. Ганна в каждом письме спрашивала, упрекала и звала, а я ничего определённого ей ответить не мог. То появлялась надежда, и я летел к ней на крыльях, то также быстро угасала. Я издёргался, испереживался. Конечно, я понимал положение на советско-польской границе, но влюблённые эгоистичны. В их сознании свой мир, свои переживания. Им кажется, что их проблемы серьёзнее мировых и чем дольше тянется их разлука, по причинам, независящим от них, тем субъективнее они воспринимают происходящее. Но не будем судить их строго – это не преступление. Это любовь!

22 июня огнём прошло по нашим сердцам! И все важные личные проблемы слились в единою, общую, как ручейки в половодье.

Война!.. Сколько природа недополучила естественного, прекрасного, того, что она заложила на такой большой и такой беззащитной земле. Мы, люди, сами своим гением разрушаем её хрупкую конструкцию, то, что она нам даёт безвозмездно, щедро и на удовольствие. Разрушаем ту простоту, которую нам потом и столетиями не воссоздать и не восполнить. За сиюминутной выгодой, за оправданной, быть может, рубится неповторимое, исчерпывается, казалось бы, неисчерпаемое, сжигается сгораемое. Как оправдаться перед теми, кто был в войну убит безвинно, замучен лишь только потому, что не смирился с насилием, с рабством? Кто не родился, а должен был; кто своей чистой младенческой кровью поил стервятника и умирал, не помня матери и не представляя жизни без железных решёток и мрачных стен бараков. Как оправдаться? Во имя чего люди, самые разумные существа на этой единственной обитаемой планете, совершают убийства? Чтобы оставить кораблик необитаемым?.. Где логика, здравый смысл?.. Нет этому оправдания.

В первую же неделю боев наш взвод поредел на половину, потом и вовсе осталось трое: Семён Семёнович, Серёжа Бухтеяров и я. Взводный стал комбатом, и мы с Серёжей – команди-

рами взводов, то есть, командирами пяти-шести человек, безоружными, измученными и голодными. Но как бы тяжело не было, в каких бы переделках не случалось нам бывать, «святой троице» – шутка Серёжа Бухтеярова, нам везло. Почти семь месяцев мы воевали вместе, в одном экипаже и стали, без преувеличений, роднее братьев. Наши характеры закалились, наш дух окреп. Беда одного – беда троих. Когда пришла похоронка на Боброва старшего, – к счастью ложная, после войны они встретились, – мы с Серёжей всячески помогали Семёну Семёновичу пережить это горе.

На одной из дорог Черниговщины фашистская танковая колонна расстреляла и передавила беженцев, шедших на восток. Смешала их безвинную кровь с грязью, растоптала их горячие сердца. Спаслись единицы. Соседская девочка, каким-то чудом узнавшая мой адрес, написала мне, что в этом молохе погибли моя мама, Евдокии Никитична и Ганна. Не знаю, как бы я такое горе пережил один?..

Это известие было для меня первым страшным ударом.

Под Москвой наш полк отдохнул. Его пополнили. Машины пришли новые, в смазке. Наш танк Т-34, хоть и побывал не в одном бою, но был всё же самым красивым: с десятью звездочками на башне и на стволе: «Смерть фашистам!». По нашему примеру новички тоже украсили свои машины соответствующими надписями и ждали боя, чтобы заветные звёзды засияли и на их броне.

Семён Семёнович был ротным, при двух орденах и мы неотлучно при нём.

Бой за Москву длился долго и для «святой троицы», стал последним. В одной из атак, уж не помню какой по счету, шарахнула рядом с нашим танком авиабомба.

Очнулся я в госпитале в бинтах и гамаке. Как потом шутила милая Марина, сушился на ветерке. Тридцать процентов моего тела оказалось без «материнской сорочки», в пузырях и ожогах. На пересадку неоткуда было брать кожу, а если и делали, то только на те участки, где на мясо уже не нарастала защитная плёнка.

К слову сказать, был я от природы крепким, здоровым парнем, так что совместными усилиями, моими и врачей, я выкарабкался из гамака.

Как только я начал мало-помалу ходить, из палаты и коридоров все зеркала исчезли. И даже те раненые, кто брились, делали это на ощупь. Предусмотрительная мера, ибо увидь я себя, уверяю, не один доктор не смог бы меня заново оживить. Марина Андреевна, мой лечащий врач-хирург, – женщина молодая, красивая, чуткая и весёлая, но уставшая от войны, крови и горя, – часто посещала меня. О многом мы с ней тогда говорили: о влиянии на личность моральных факторов, о красоте души и внешней красоте, о месте подвига, о цели жизни и её предназначении, о силе духа. Короче говоря, моральную закалку я прошёл полностью, за что и был вознаграждён – предстал пред очами своими, перед зеркалом.

До этого я догадывался, каким я стал. Не раз украдкой заглядывал в затемнённые окна палаты. Но рассматривать себя, и боялся и избегал, предчувствие беды меня уже томило. Мои пальцы пробегали по лицу, в воображении кое-какое представление рисовали о моей внешности. Но тайная надежда, ещё жила во мне – это временно, пройдёт, как опухоль, как ссадины. Но чудо не произошло, предчувствие не обмануло. В зеркале я увидел себя и не узнал, как зритель в бесформенной скульптуре образ. На меня глядел – урод! Чудовище! Которое описать невозможно, да и не хочу, страшно. К несчастью, это был мой неотразимый вид, а не гипсовая болванка, и мой ваятель никогда не исправит свои недоделки. Они неисправимы. В таком виде меня и хотели комиссовать. Представь, каким бы ты сейчас меня видел! Едва упросил оставить в войсках и отправить на фронт.

Но я ошибался. И к счастью. Через полтора года после моего первого выздоровления я вновь попал в госпиталь. До этого меня пули не обегали, имел и контузию, но дальше медсанбата не отправляли. И каково же было мое удивление, когда во второй раз у операционного

стола я вновь увидел Марину Андреевну! Нет, военная судьба – жестокая судьба, но и она бывает к нам благосклонной. На этот раз милая Марина меня не выпустила из госпиталя в таком безобразном виде. На свой страх и риск и с моего отчаянного согласия взяла на себя роль «ваятеля». Сделала три пластических операции и несколько соскобов на моем лице. И когда перед выпиской я вновь увидел себя в зеркало, то тоже чуть было не сошёл с ума, но только уже от счастья? Конечно же, на того довоенного парня я не походил, но и то, что мне было возвращено, стало для меня вторым рождением. В безумной радости я закружил милую докторшу по кабинету, осыпая её восторженными поцелуями. Мне не хватало воздуха, во мне пробудилась жизнь. Марина! Прекрасная Марина! Волшебница моя!..

(Он посмотрел на меня, и я почувствовал, как то тепло, которое он хранит в себе к этому человеку, невидимыми лучами толкнулось и в моё сердце.)

3

Итак, я на фронте. Из штаба полка я был направлен в батальон капитана Боброва С. С. Услышав эту фамилию, я насторожился. О Семёне Семёновиче и Серёже Бухтеярове я знал столько же, сколько о себе самом? Ни того, как вылез из танка, ни того, как попал в госпиталь. Я считал их погибшими, потому что в памяти моей остался страшный скрежет, гром и удушающая гарь. Мрак. Предполагал, что из нижнего люка я выпал сам, в горячечном бреду отполз, там меня кто-нибудь потушил и отправил в госпиталь. Но если Семён Семёнович жив, то всё произошло, наверное, по-иному.

Но только поздно вечером мне удалось настичь батальон капитана Боброва, потому как те координаты, что выдали связисты полка, были верны лишь сию минуту, а через час – ложны, как предсказания бабушки.

После дневного боя личный состав отдыхал. Спал и комбат. Связной, почтенного возраста человек, дремавший у аппарата, взглянув на меня, чуть было не перекрестился. В душе я снисходительно усмехнулся: перепугал старика! Но будить командира он всё же не стал. Моё предписание взял, посоветовал пройти в следующий дом и там переждать до утра.

Спать пришлось сидя за столом, потому что скамейки и пол были заняты танкистами и бойцами стрелкового полка, с которым взаимодействовал батальон. Вначале я долго сидел, всё представлял нашу встречу: живого Семёна Семёновича, Серёжу, раз жив один, то тут должен быть и второй. Вновь, значит, «святая троица» будет вместе. Радовался, предвкушая это событие.

Фронтовые друзья всегда дороги нам. Быть может, они запечатлелись в вашей памяти всего один раз, но это был такой миг, такая минута, что на вашем уже, изрядно затемнённом от всевозможных свечений, явлений, ударов судьбы, негативе они отпечатаются чётче любой фотографии. Только на вашем – они выше, чище, умнее, потому что живы уже иной жизнью, не своей, не реальной, а щедро обогащённой вашей фантазией, доброй памятью о них. Мы любим их, и наша память принадлежит им.

Думая о них, о живых, в мою душу стала вкрадываться робкая надежда и о близких моих: маме, отце, о котором ничего не знал с самого начала войны. Мысленно улетал в село, в старый заброшенный овин, где мы встречались с Ганкой: взволнованные, горячие, но сдержанные, как солдаты перед атакой.

Проснулся я от прикосновения. Поднял голову. От влаги лицо и руки, на которых лежала голова, охолонуло – плакал во сне.

– Вас вызывает комбат, – тихо сказал связной, наклонясь, и осторожно переступая сонные тела, пошёл к дверям. Я за ним, стирая с лица сонливость и слезы.

Было раннее утро. Ночью прошёл дождь и оказывается сильный. Дорогу, вдоль погорелого села, ещё не окрепшую после весенней распутицы, развезло вовсе. Было свежо и прохладно.

Комбат сидел за столом, на котором стояла коптилка из гильзы противотанкового патрона, кружка с кипятком и лежал планшет.

В мгновение ока я охватил всё это и Семёна Семёновича – а это был он!

Семён Семёнович выглядел старше и в движениях степеннее, но взгляд по-прежнему быстрый, живой; усы широкие, прокуренные и… нижняя часть уха отсутствовала и шрам поперёк щеки. Но я настолько был рад видеть его и был настолько возбуждён, что этим элементам, ранее «не украшавшим» его лицо, не дал в своём сознании запечатлеться.

Справляясь с волнением, я доложился.

– Подойди лейтенант к столу, – сказал он.

Я подошёл. Он, вглядываясь в меня, покачал головой, дескать, но и видок у тебя, братец. Взял моё предписание и, глядя в него, спросил:

– До танкового училища, где воевал?

– На Западном фронте.

Комбат встал, обошёл меня вокруг и сухим голосом вновь спросил:

– Это где тебя?..

– Под Мало… ярославцем, – от волнения, помню, дыхание перехватило.

– Димка! Ты?!

Я лишился речи и только-то успел, что кивнул головой, как оказался в его объятьях. Мы не могли поверить яви, – мы слишком долго носили друг друга в памяти среди несуществующих друзей и опустить на землю кого-либо из них, за одно мгновение, были не в силах. Видимо, в таких случаях чувства опережают разум. А если ещё сознание однажды смогло запечатлеть страшную картину гибели их, то тут не так-то просто поверить в реальность, в воскрешение из мёртвых.

Из рассказа Семёна Семёновича я узнал следующее.

После взрыва авиабомбы всех оглушило и, видимо, надолго. Танк тем временем разгорался. Сам Семён Семёнович не помнит, как оказался на земле, а когда пришёл в себя, то увидел, что возле него горит человек – это был я. Как пьяный, качаясь, он стал срывать с меня горящую одежду, тушить и забрасывать снегом. Рядом стреляли, что-то кричали, но до контуженого человека эти шумы и звуки не доходили. Слабой искоркой промелькнувшее сознание было сосредоточено на спасении, но не собственной жизни, а товарища. На моей жизни! Потом кто-то, вначале он не признал, оттащил меня в сторону, а затем его. А когда танк взорвался, осколок брони, отлетевший от него, пронзил Серёжу Бухтеярову и ударил Семёна Семёновича по голове. Серёжа и тут принял основной удар на себя, защитив командира и друга. Семён Семёнович потерял сознание, и что стало со мной, ему было неизвестно. В госпитале поговаривали, что как будто бы какой-то танкист скончался от сильных ожогов, и он это известие отнёс на мой счёт.

Но я остался жив! Я!.. А мой спаситель, моё второе я, красивый, сильный – погиб. Он заменил меня в смерти. Зачем? – думал я, оплакивая друга. Парадоксы, недоразумения, нелепости мы творим порой из благородства, из чести, из любви к своим ближним. А парадоксом, нелепостью, – как мне казалось тогда, – был я. Что нами движет в эти минуты? Чем мы живём? Быть может, только в эти мгновения мы и живём, всё остальное время – летаргический сон? Если это так, то война не самое подходящее средство для его исцеления. Для тебя, для меня и миллионов таких, как мы, найдётся уйма мест и возможностей, где наши дарования смогут проявиться, и не единожды… Серёжа Бухтеяров выполнил свой товарищеский долг. В памяти нашей, в сердцах друзей он вознесён на самый высший пьедестал почёта – БЕССМЕРТИЕ! Я постоянно думаю о нём, живу его жизнью. Совершая поступки и дела, невольно на них смотрю его глазами, его умом сверяю то, что мною совершено. Он живёт во мне равноправно, рядом с совестью, с честью, со страстью и ненавистью…

Я был вызван комбатом вот по какому делу. Поскольку я только что прибыл в часть и был свеж, то Семён Семёнович предложил мне совершить турне в наш тыл с экипажем из легко раненых и во вчерашнем бою не принимавших участие. То есть дал мне возможность подзарядиться перед предстоящими делами.

Дороги после весенней распутицы и дождя, ещё не успели окрепнуть, раскисли и обозы с медикаментами, продуктами и боеприпасами где-то застряли: по данным – в километрах трёх-четырёх. И мне предстояло их встретить.

– И вот ещё что, – Семён Семёнович положил руку мне на плечо. – Будь осторожен. Поле, где пробита дорога, ещё не разминировано. С колеи не сворачивай. Лужа – лезь в лужу. Яма – ныряй в яму.

С тем я и ушёл выполнять задание.

4

– Судьба порадовала меня в первый день, а на второй…

Рассказчик прервался. Закрыл глаза, и мне показалось, что меж бледно-розовых без ресниц век, проступила слеза.

– Подай водички, пожалуйста, – тихо попросил он.

Я подал. Он сделал глоток и вернул.

– Спасибо.

…А на другой день случилось такое, отчего я закаменел душой и надолго. Только в госпитале, после второго лечения у Марины, я немного отмяк, оттаял. И вообще, этот человек, если образно говорить, сделал на мне и во мне три операции: как хирург, как человек, как женщина. Долго, очень долго я преследовал её после войны, но не как ловелас, а как младенец – мать, как паж – фею, как влюблённый – любимую. Нет, я не домогался. Я не напоминал лишний раз о себе – это в первую очередь оскорбило бы меня самого. Я просто хотел быть рядом, иначе не мог. В Калуге, студентом, снимал комнатку на той же улице, где жила она с мужем и дочкой. В Ангарске – жил в квартале, рядом с её кварталом и преподавал в той школе, где учились их дети: дочь и два сына. И так бы продолжалось бесконечно, если бы… К сожалению, жизнь управляет нами по-своему, у неё свои законы: болезнь, старость, смерть. Они нас привязывают к месту, притягивают к постели, останавливают на полпути. Поэтому в Москву я уже не смог последовать за ней. Но с Днём ПОБЕДЫ Марина каждой раз меня поздравляет. Жду её весточку с нетерпением. Ты уж не посчитай за труд, принеси её телеграмму или открытку. (Я согласно кивнул.)

И вот, я на первом боевом задании. Дорога и впрямь была никудышной. А между перелесками, в старой пахоте, она вовсе утопала в глубокой колее. Но я находился в прекрасном настроении. Сидел на броне, открыв люк. Смотрел с восторгом на леса, где, презирая войну, пели птица, и где-то в отдалении голос подавала кукушка. Первая зелень начинала надвигаться на черные поля. И даже при такой расхлябистой дороге, меня всё умиляло. Весна…

Первую машину ЗИС-5 мы встретили в километрах двух от позиций, на выезде из леска. Она сидела по брюхо в грязи, и два солдата откатывали её лопатами. Завидев нас, они прекратили неблагодарную работу.

Саша, водитель танка, лихо подкатил к ним и развернулся. Я спрыгнул с брони, и подошёл к машине.

– Здравия желаю!

– Здоровеньки булы! – ответил пожилой, заросший седой щетиной, усталый человек, как выяснилось – шофёр.

– Здравия желаем! – козырнул грязной рукой молоденький солдатик – сопровождающий – и приветливо заулыбался, обрадовался неожиданной помощи.

Голос шофёра был сиплым, простуженным, глаза, ввалившиеся, лицо сухое, испещрённое десятками борозд боли, печали, старости. Подкашливал на выдохе, как астматик, как все курящие его возраста. Ссутуленный, надсаженный. Вообще, на войне, при воинском деле, пусть даже при самом немудрящем, видеть стариков, женщин, детей – грустно, глубже осознаешь варварство войны, людскую трагедию. А глядя на этого человека, у меня сжалась сердце.

Шофёр сказал напарнику:

– Сынку, пидципляй. Я трожки перекуру.

Он вынул мятую пачку «Звезды» из галифе, достав из неё папиросу, подал мне, вторую – себе. Я поблагодарил и зажёг спичку. Мои пальцы дрожали, я начал волноваться.

Шофёр глубоко затянулся и, выдохнув, спросил:

– И хде ж це тоби, хлопец?

– На войне, – уклончиво, изменившимся голосом, ответил я.

Он понимающе кивнул головой.

– И що це война з нами робит?.. Як людын калече, – помолчал, наблюдая за танкистами, разматывающими трос. – Мий сынку то ж танкистом був. Згинул пид Москвой.

Я отвернулся. И, кажется, папиросу вытянул в одну затяжку.

– Садись, дядь Ефим! – крикнул сопровождающий.

Шофёр, чавкая по грязи сапогами, тяжело пошёл к машине. Танк заурчал, трос натянулся, и машина выползла с пудовыми пузырями грязи на колесах.

– Ну, хлопцы, спасыбо! Подмахлы трожки.

Шофёр подошёл ко мне, подал руку и, глянув на меня с пристальным вниманием, от которого сердце моё зашлось, попрощался:

– До побачиня, сынку! – и, не дождавшись моего ответа, поплёлся к машине.

Я стоял, как обгорелый пень при дороге, смотрел на удаляющуюся в вечность фигуру: сутулую спину, седой ёжик, торчащие уши, слегка согнутые в локтях руки, и молчал. Молчал, когда надо было ликовать от радости, кричать, звать, не отпускать от себя этого человека. Хотя бы на миг продлить наше общение, его присутствие…

Машина удалялись, и отъехала, быть может, метров на двести, когда я увидел, как гигантская сила оторвала её от земли и превратила в сноп огня и дыма. Меня подбросило, то ли от взрыва, то ли от ужаса свершившегося. Я бежал, летел к месту взрыва, и мне казалось, что очень медленно. Мне казалось, что я ещё успею, ещё догоню, ещё предотвращу, только быстрее, быстрее…

Не знаю, что я делал – стонал ли, кричал ли? – лёжа на краю воронки и сколько прошло времени, только очнулся я от того, что Саша тряс меня за плечо: пора ехать! А я не мог понять: зачем, куда?..

Я сидел в танке, стукался головой о металл. И ничего не понимал. Меня куда-то везли, а я всё ещё был у той воронки. Я ощущал шершавое пожатие, смотрел на свою руку, как будто бы на ней остались отпечатки от шершавой руки. И вообще, весь мир во мне перевернулся и стал сплошным недоумением…

В одной из передач «0т всей души» был рассказан случай, в котором матрос, черноморец, выполняя задание, под обстрелом встретил в одной из воронок свою семью: жену и маленьких детей. Трагическая ситуация, но, слава Богу, для них окончилась благополучно. Я тоже выполнял задание и был на короткий миг осчастливлен – я встретил отца!

…А молчал я вот почему. Как только я признал в этом измученном человеке отца, я растерялся. Вначале хотел закричать:

– Батьку! Это я, Митько!.. – сгрести его в объятия, прижаться к нему,

Но его усталый взгляд осёк мой порыв. Он смотрел на меня, на чудовище, с таким выражением боли и сострадания, что будь во мне в места сердца камень, я всё равно не смог бы назваться, и тогда я решил: пусть останется всё как есть. Пусть он переживёт эту встречу, как со случайным знакомым, притерпится к мысли, что бывает в жизни и такие уроды. Пусть едет с тем чувством боли, которое пережил сейчас, а там, в батальоне или другом каком подразделении, я его найду и исподволь, потихоньку подготовлю, и уж тогда…

Забыл, что военная жизнь – бывает мгновением.

Сейчас, с высоты прожитых лет, я свою нерешительность не оправдываю. Быть может, ему хотелось увидеть хоть такого сына, хоть трижды перекалеченного, знать, что он жив. Быть может, ему именно этого и не хватало все эти годы войны, чтобы приобрести уверенность, что он не один на этом свете, и приободриться. Ведь у него никого не осталось, что мама погибла, ему, наверное, сообщили и, возможно, раньше меня. А сознание одиночества пожилого человека гнетёт и старит вдвое сильнее. И самое грустное то, что я своей осторожностью, оберегая от одного, не уберёг его от другого… Что было сказать:

– Батьку, не сворачивай с колеи, поле ещё не разминировано! – забыл, выпало из памяти после нашей встречи.

И эта вина в моём сердце сидит горячим осколком. И этот осколок всякий раз поддевает его в неподходящий момент…

…После его рассказа мы ещё долго сидели, переживали: он – воспоминания, я – тепло, которое подтапливало меня откуда-то изнутри, щипало глаза. И чувство, сродни благодарности и великого сочувствия к нему, к ним… ко всем, прошедшим по трудным дорогам войны. А сколько осталось их, ушедших от нас и не успевших раскрыть нам свои души?.. Оставшихся по ту сторону памяти.

***

9-го Мая я, как и обещал, принёс поздравительную открытку в больницу. Текст в ней был самый обычный:

«Дорогой Димочка! Поздравляю тебя с Днём ПОБЕДЫ! Будь бодр, деятелен. Здоровья тебе и радости. Твой друг М. А. Я.»

Но нашего общего друга уже не было в живых. Он умер накануне, 7-го мая.

Ксюшина родня

Захлебнулась атака у нас, артналёт.
А сестра фронтовая ползёт и ползёт…
А огонь – никому не поднять головы.
А она всё ползёт через ямы и рвы.
Александр Авдонин.

День закатывался, а бомбежка не прекращалась. Ксюша страшно устала. Казалось, что уже нет сил.

Троих она вытащила. Первый раненый был молодым и способным немного передвигаться. Волокла на плащ-палатке, а он одной ногой помогал. Дотащила, слава Богу, живым. Те, двое, мелкие мужики и двигаться тоже могли. А этот, четвертый…

Ксения напрягается, но сдвинуть раненого с места не может.

– Вот наказание! И кто только таких на фронт берёт? Ему бы вагонетки в шахте толкать… Да пошевелись же ты!

Раненый молчит. Руки вытянуты вдоль тела. Жив ли? Она наклоняется над ним, прикладывает ухо к груди. Живой…

– Эй, дядя, как ты тут?

Ксюша легонько теребит за рукав гимнастерки. Он медленно приоткрывает глаза.

– Живой будто, – облизывает кончиком языка бескровные губы. – Только худо больно… Пить хочется…

– Ничего, ничего, потерпи. Ты только ногами упирайся. Сможешь?

Раненый прикрыл глаза – сможет. Ксения ухватилась обеими руками за волокушу (плащ-палатку) и упёрлась в землю с такой силой, словно хотела изменить геометрическую форму земного шара.

– Ну, давай, миленький. Ногами, ножками!..

Раненый подобрался, согнул колени и каблуками оттолкнулся – земной шар на несколько сантиметров провернулся под ним. «Вот молодец! Давай ещё раз. Вот та-ак. Ещё…» Он повторил свой опыт раз семь-восемь и затих, положась, как видно, на двужильную сестричку. Но у той, одна за другой, обе жилочки лопнули, и девушка упала от изнеможения.

Марш отчаяния и бессилия звучит там, где горе и смерть. Он солёным туманом плывёт над землёй и минорным аккордом давит на сознание маленького человечка, застигнутого минутными слабостями. Только куплеты под эту музыку у каждого свои – с мольбой, с проклятиями. Ксюша исполняла этот марш искренне, самозабвенно, придушивая голос на высоких нотках…

– Боров ты стокилограммовый… Да не лежи ты бревном. Умру ж я рядом с тобой…

Солнце, затенённое клубами пыли и дыма, висевшими в воздухе, обиженное, раскрасневшееся, садилось за курганом. Но вечерней прохлады не было, не чувствовалась. Духота и жажда мучили девушку и раненого. Он стонал, просил пить.

– Потерпи, миленький, потерпи. Чуть-чуть осталось. Ложок уж близко, – напевала Ксюша, наматывая на ослабевшие кулачки мокроту со щёк. – Ты мне только помоги, хоть чуточку. Я тебя утащу, обязательно, хороший мой, только ты хоть чуточку…

Отбомбившийся вражеский самолёт заметил нечто интересное на окраине поля у оврага. Снизился и на бреющем полёте прошёл над копошащимися, похожими на зелёных жучков, людьми. Впереди себя он выплевывал смертельные жала, они со свистом вонзались в пыль, в траву, в кусты. Ксения с материнской самоотверженностью закрыла собой беспомощное тело, моля и уповая на волю случая, который может всё, и даже пули отвести.

Она была маленькой, щупленькой, а его туловище лежало под ней широким матрацем.

Свист и вой вместе с хищной птицей удалились. Девушка приподнялась над раненым и подмигнула, дескать, пронесло…

– Оставь меня, дочка, не мучайся, – еле слышно прошептал он.

– Вот ещё! Сколько пропёрла, а теперь оставь.

Лицо у неё – измученное, грязное от пота и слёз. Раненый посмотрел на девушку с сочувствием.

– Хороший ты человечек. Война кончится, поженю я тебя со своим сыном.

Она засмеялась и с шуткой ответила.

– Все вы так. Пока вас тащишь или бинтуешь, все в родню набиваетесь: кто жениться, кто со сватовством.

Он тоже улыбнулся.

– Ты лучше пособляй мне потихоньку. Ногами шевели и покатишься, как на саночках. Нам с тобой немного уж осталось, только поле переехать, а там овражек. Как у тебя, хватит пороху?

– Давай попробуем…

Овраг, как магнит, притягивал к себе. В нём вода давно высохла, может быть, ещё до рождения Ксюши, но там кусты, деревья, и была прохлада. В нём, наконец, можно было оставить раненого и разыскать санитаров.

Ксения вцепилась в плащ-палатку и потянула. Раненый вяло поочерёдно поднимал солгнутые в коленях ноги, отталкивался, и они вместе, под гром орудийных снарядов и авиабомб, доносившихся с поля боя, под свист пролетающих пуль, ползли к укрытию.

С покатого берега волокуша съехала легче. Ксюша подтащила её к широкому кусту черемухи и в блаженстве упала рядом. Прохлада оврага – бальзам измученному телу – дохнула жизнью, и в санитарочке мрачный прежний марш зазвенел фанфарами, гимном свершившегося чуда. Она смогла!.. Нет, они смогли!

– Спасибо тебе, родненький. Не ты б если, одной мне разве осилить было? Ты не обижайся, что я тебя бранила. Ведь мы, бабы, без ворчания-то не можем. Теперь… Теперь нам жить да жить. Вернёшься к сыну, присылай сватов. Свёкром ты будешь хорошим, отцом звать буду…

Ксения тяжело поднялась на колени.

Некогда лежать, надо санитаров звать, да и назад, к своим бежать.

Она посмотрела на будущего свекра. Он был мертв…

Отпускница

1

Веру ждали. В последнем письме она писала, что уже в отпуске. Веселье не готовили, но разве не радость для неё самой наконец-то оказаться дома. Вдохнуть запах утренней росы и парного молока. Увидеть поутру корову, пастуха, выгоняющего стадо на пастбища. Посидеть под черемухой. Повидать родных. Повидаться с подружками, какие ещё остались в деревне… Она часто об этом писала.

Ну, конечно, в доме прибрали, навели порядок. Дочь-то теперь не та деревенская девчонка, что была прежде. Вымахало, раздобрела, поди, там, на городских-то харчах. Вона какие переводы слала, видать, зашибала девка куда с добром.

Вера не было дома четыре года. Долго Ефросинья Михайловна убивалась по ней. Старшая она была, помощницей. Как ушёл Илларион Минаевич на фронт, так и легло всё хозяйство им на руки. Детей, кроме Веры, четверо, да ещё хозяйство: корова, бычок, поросята, две ярки, баран. Курочек с десятка полтора. Худо-бедно жить можно. Война началась, куда что делось? Одно государству сдали, пошло на оборону, другое – продали. Да только без коровы с такой оравой не тут-то было, не потянешь. Сено первую осень с Веркой заготовляли, ломили, как каторжные. На себе вязанками из логов вытаскивали, другого-то места на покосы не давали. Копны метали – на стог ни сил, ни смётки не хватало. Потом с Надькой, с Игнатом мучилась. Досталось же. Да и не только им одним. Разве что Прынин с нуждой не знался.

«Вспомнила черта ни к месту! – ругнулась про себя Ефросинья Михайловна. – Вот по ком фронт плакал».

…В январе сорок второго года Филат Прынин и участковый милиционер Соловушкин ходили по деревне и наводили страх. Стоило заслышать стук в раму окна или в дверь, женщины притихали – дошла-таки очередь и до них. Уговоры редко помогали, но при хорошем угощении власти добрели, и хозяйская дочь или сын, подростки, вписывались в один из трех списков: «Лесозаготовка» или «Нужен колхозу». Даже лесозаготовка, где каторжная работа, в лесу, на холоде, в снегу, без отдыха всю зиму, и то так не пугала, как третий список: «Военный завод». Это куда-то, Бог знает где, от дома за тридевять земель… Не могло приземленное сознание охватить той дали, а сердце смириться с утратой ребёнка. И вербовка проводилась не добрым и доходчивым словом, а бессердечно грубо, не считаясь ни с составом семьи, ни с её трудностями. Добродушный участковый в дела председателя не вмешивался и к концу дня, подвыпивший, был в самом распрекрасном расположении духа. И только всеобщее горе, охватившее страну, сдерживало матерей от протеста…

Первое письмо пришло от Веры почти через месяц. А ещё через месяц денежный перевод. Потом ещё и ещё, и так все четыре года. Вера писала, что там деньги ей не нужны, а вам, дескать, помогут. И помогли. Ещё как помогали, Верочка. За налоги уходили. Молока, масла не хватало на сдачу, так со стороны прикупали. Потом – яйца, сало, масло, шерсть. Два баранчика осталось от прежних овец, да их держать – му́ка и смех один. В конце года сдай полторы шкуры с каждого, хоть выроди, а нет, так Прынин всю душу вымотает, милицией застращает. Крутились люди, лебеду с крапивой ели, а налоги платили. А то как же? – дело государственное, война. Спасибо, Верочка, выручали твои денежки. Другим односельчанам городские тоже переводы слали. Но кому понемногу, а кого только подразнили. Оно конечно, дело хозяйское, никто от них не требовал. Им, поди, и самим там несладко, но Верочка регулярно, каждый месяц присылала. Вот уж дал Бог девку, сострадательная, с понятием. Спасибо тебе, деточка.

Ефросинья Михайловна ещё со вчерашнего вечера завела из сэкономленной ржаной муки тесто на опаре. Любит Верочка пирожки с зелёным лучком и яичком. А уж как приедет, нажарит. Драников натрёт из картошки, щец наварит из молодой крапивки – угощение будет.

Надька и Игнашка выскоблили полы на кухне, в сенцах, на крылечке. Лёнька и Нюська промыли лавки вдоль стен. Дощатый стол она сама скоблила, со щелоком вымыла.

«Не дочь встречаю – барыню, – смеялась довольная мать. – Сёдня должна прибыть – нутром чую, глаз чешется, к радости».

Младшие, Лёнька и Нюська, уж с обеда глаз не спускают с Сурановского проулка. И не до игр.

Нюська не помнит сестру, так, что-то смутное и то, наверное, больше со слов Лёньки. Она, говорит он, почти как мамка, только дохлее. А какая, толком и не помнит, сам-то был от горшка два вершка. Надя и Игнатка помнят. Они уже большенькими были. И потом, Вера постоянно с мамкой: то в поле, то на сенокосе, то на ферме – так и прошла мимо их детства. Хорошая или плохая, верь теперь старшим. Но раз мамка этак хлопочет, их в чистое заставила переодеться, наказала не пачкаться, верно, хорошая.

Им была поставлена задача: чуть что, бежать на Пеньчихину гору – там на силос закладывают яму – и сообщить матери о гостье. Обрисовали на словах, какая должна быть Вера: в костюмчике, в шляпке, в белых туфельках, – словом, как Тоська Серёдкина, что была в прошлом месяце.

Краля с завитушками. Кого-кого, а её-то Нюська запомнила. Знает, какие они, городские…

2

Вера не пошла домой деревней. Только вышла из леса и свернула к речке Тугояковке. Знакомым местом перебрела её бродом и, обогнув Пенчьчихину гору, болотцем у её подножия, вышла на Нагорную улочку.

Девушка шла босиком, в ситцевом платьице. Несла в одной руке дамскую сумочку, в другой фанерный чемодан оклеенный дерматином, который за долгий путь изрядно оттянул руки. Туфли и кофточку, старенькую, ещё материну, что в дорогу когда-то мама давала, спрятала в него, как только сошла с поезда.

Выглядела Вера очень молодо для своих двадцати лет. Как школьница, едущая к родственникам на каникулы. Две тёмные косички, аккуратный валик чёлочки над изломом бровей. Глаза голубые, подвижные, но в момент грусти – тихие, скорбные. Губы сухие, бледные, словно перед поездкой девушка перенесла тяжёлую болезнь, и температура выжгла с них полевую окраску жарков. Шея высокая и была бы красивой, если бы не сутулость, что, как тяжелая ноша, тянула плечи и голову книзу.

Домой Вера прошла никем не замеченной.

Радостное чувство нахлынуло на девушку, как только она очутилась во дворе. Брякнуло кольцо воротец, а в душе как будто бы вскипел родничок, защипало глаза. Жадным взглядом обежала дом, бревенчатые стены, увидела сквозь рамы комнатные цветы на окнах. Некоторые из них цвели. И Вера с нежностью подумала:

«Ах, мама, мама! Как тебе не тяжело, а цветы живые. Я в своей комнатке тоже завела».

В сарайке дверь открыта. Она косо висела, упираясь нижним углом в землю, и натягивала верхнюю кожаную накладку вместо шарнира. Навес голый, без сена, только кое-где свешивалась сухая картофельная ботва. На изгороди некоторые жерди поломаны и связаны веревками при помощи коротышей. Кто-то из ребятишек, поди, лазал за черемухой и сломал. Черемуха стоит широкая, рясная. Когда-то она с неё падала. Поцарапалась…

Вошла в дом. И напахнуло на девушку вместе с летней прохладой комнаты древесным углём, тишиной и покоем. Она всей грудью облегченно вздохнула и, поставив на вымытую лавку чемодан, присела рядом.

Русская печь стояла напротив, выпирая углами. Ласковым взглядом Вера огладила её бока от пола до трубы.

«Милая, как я по тебе истосковалась. Как без тебя было холодно…» – подумала девушка и заплакала, как будто долгожданное тепло только теперь согрело её, подтопило изнутри.

В красном углу по-прежнему, на сделанном ещё папой треугольничке, стоит иконка Николая-угодника. Почему именно Николая да еще угодника? – Вера не знала. Но однажды чудо его как будто бы уловила. Как-то, придя с матерью с полей, застали Надю, Игната, Лёньку и Нюську вымазанными тестом. Дети есть хотели и понемножку помаленьку выловили пальчиками половину содержимого из квашни. Мама спросила:

– Признавайтесь, вы ели тесто?

Ребята в голос ответили: – Нет! – и закрутили отчаянно головами.

– А вот Боженька, Николай-угодник, всё-всё видел, чем вы здесь занимались, и нам сейчас рассказал. Вот, возле воротец.

Дети присмирели и тут же признались. Они с мамой потом долго смеялись над этой шуткой, и она с тех пор с иронией стала посматривать на угол: вот они какие, всевидящие, чудотворцы-угодники.

Но мама не снимает иконку. Может быть, всё ещё молится и за неё и за ребятишек, и за папу, наверное, надеется, что в этот раз чудо действительно произойдёт, и он вернётся.

Вера смахнула с глаз слезу, встала. Прошла в горницу. Ей захотелось посмотреть фотографии, где папа и мама, и вся семья. Но, подойдя к порогу, вдруг остановилась.

И чисто убранная комната, и большой фикус в зелёной кадке на табуретке в углу у комода, и цветы на окнах, и тонкая самотканая дорожка, бегущая от маминой кровати к детской кровати, широкой, напоминающей топчан, и, наконец, крашенные бугристые половицы очаровали девушку. Она с замиранием сердца ступила на пол и почувствовала, как холод краски ожог ступни. Было в этом что-то священнодейственное, необычайное, райское – такой вот он, родительский дом, по которому истомилась душа в том далёком дальнем далеке!

Вера, не спеша, пошла по прохладным половицам. Обошла горницу и возле каждого предмета: цветка ли, старого сундука, комода, кроватей ли – останавливалась, вздыхала. Как будто бы принюхивалась к призабывшимся запахам, приглядывалась к забытым формам. Долго стояла у фотографий, висевших на стене в стеклянных рамочках. Смотрела на отца и плакала. Вглядывалась в себя, в мать, в детей и как будто бы снова была там, в довоенном времени.

Теперь ей не верилось, что была война, что погиб папа, что она из последних сил выстаивала у токарного станка до бесконечности долгие смены, падала, теряя сознание от голода, потому что все деньги отсылала домой, а карточку делили с напарницей – у той тоже было четверо детей да мать-старушка на иждивении.

После обхода дома Вера вышла в огород.

Огород большой, соток двадцать. Хоть и тяжёло, но его всегда засаживали – зима не тётка, кулич не поднесёт. Только на картошку и надёжа. И дранники из неё, и пареная, и жаренная, и просто печёная в печи – блюд сколько угодно. Только была бы она, родимая.

Возле баньки картофель не доокучен. Вера взяла тяпку и, не спеша, стала огребать грядки. Руки, оказывается, не отвыкли, правда, пристала с дороги, отдохнуть бы…

3

Пришла Ефросинья Михайловна. Подсказало сердце, подтолкнуло. Отпросилась у бригадира и домой. И вот она, долгожданная…

– Вера! Веруня!.. – мать бежала по огороду, огибая картофельные грядки.

– Мамочка!.. – вскликнула Вера, опираясь на тяпку, силы ей изменили. Она не могла сойти с места.

Мать подхватила дочь и замерла, приподняв её на груди. Вера прижала материну голову к себе и: – Мама, мама, мамочка… – шептала, задохнувшись от счастья.

Ефросинья Михайловна держала дочь на весу, не замечая её веса.

– Здравствуй, доченька! Здравствуй, моя долгожданная!..

– Мама!.. – и не могла оторваться от матери.

Наконец мать опустила Веру на землю и, не веря всё ещё своим глазам, но, замечая её худобу, вдруг забеспокоилась, просила:

– Здорова ли ты, Веруня?

– Здорова, мамочка, здорова! – отвечала та, тоже взволнованно оглядывая мать. Мама постарела…

– А пошто такая доходная? Как пёрышко.

Вера пожала острыми плечиками; дескать, не знаю. Не наела ещё, и улыбнулась счастливо, облегченно.

– Ну, ничего, доченька, я тебя подкормлю, подправлю, – пообещала Ефросинья Михайловна, стирая с глаз слезы жесткой подушечкой ладони.

Дома шёл долгожданный разговор. Мать хлопотала над ужином и выспрашивала у дочери про городское житьё-бытьё. Вера отвечала и с охотой сообщила о том, что ей завод дал маленькую комнатку семи квадратных метров на подселение. Теперь можно Надю и Игната взять в город учиться. Ефросинья Михайловна с удовлетворением восприняла это сообщение и хоть возражать против учебы детей в городе не стала, но, как бы ненароком, намекнула о замужестве. Вера, слегка покраснев, отмахнулась.

– Да что ты, мама! Не до этого. Вы ещё бедуете. Надя выросла, Игнат. Помогу тебе, потом уж… Там видно будет.

Ефросинья Михайловна стояла у маленького шкафчика, где составлены чашки, лежали ложки, и с нежностью посмотрела на дочь.

– Да что теперь о нас-то беспокоиться, Верунька? Счас полегче. Счас войны нет. Поговаривают, и налоги сымут. Спасибо тебе, и так ладно подмогла.

Вера согласно кивала головой, оглаживая руки, пальцы, будто желая вытереть из пор кожи и из шрамов от стружки въевшуюся черноту от мазута и окалины.

«Господи! Руки-то, как у кузнеца», – с удивлением подумала Ефросинья Михайловна и спросила с сочувствием:

– Работа-то как, очень тяжёлая?

Вера опустила руки.

– Ничего, притерпелась…

Поели быстро. Особенно Вера. Того другого нехитрого угощения попробовала и наелась. Ефросинья Михайловна даже всплеснула руками.

– Ты пошто этак-то? Поклевала, как галчонок, и уже готова? Нет, ешь!

– Наелась я, правда, – засмеялась Вера. – Мне много не надо.

Ефросинья Михайловна с напускной обидой стала упрекать:

– Ано конешно, наши харчи не то, что городские. Но, извиняй, чем богаты…

– Да что ты, мама! Я вкуснее, чем у тебя, и не едала.

– Ага, сказывай, видали мы вашего брата. Тоська Середкина давеча приезжала, так Пелагия не знала, чем и угостить. От молока ей живот дует, от пирогов с луком в нос отдаёт…

– Тося была в отпуске? – удивилась Вера. – Как я по ней соскучилась. Где она работает?

– Под Красноярском где-то. Второй раз уже приезжает. Расфуфыренная, разодетая, чисто боярышня, – и посмотрела оценивающе на дочь. – Ты-то пошто без нарядов? – матери даже немного было обидно, неудобно перед деревенскими за свою горожанку. – Справила бы себе платьице поновей, али костюмчик, шляпку… – Ефросинья Михайловна ещё хотела что-то добавить, увлекаясь образом, что успела набросать мечтательная женская натура. Но тихий, как будто бы сторонний, голос приземлил её.

– Да как-то не на что было одеваться, мама…

Ефросинья Михайловна задохнулась на полуслове, будто хватила горячего.

«Ой! Что это я?» – опомнилась мать.

Ей вдруг с острой очевидностью стала понятной та причина, которая не давала её девочке вдоволь наедаться, наряжаться, беззаботно жить. Это та суровая ниточка, что крепко связывала их вместе, в один узелок, все эти долгие годы войны.

– Прости, Веруня!.. – Ефросинья Михайловна, присев перед дочерью, уронила голову ей на колени. – Прости, доченька…

У матери затряслись плечи, и из груди вырвался сдавленный стон. Вся добродетель, что проявляла дочь к ней, к ним, теперь обернулась материнской болью и страданием.

Вера виновато улыбалась, нежно поглаживая уже седеющую голову матери.

4

Пришли с силоса Надя и Игнат. В доме запахло ароматом луговых трав.

– А это… чё вы тут делаете? – спросил подросток, не признав старшей сестры.

Ефросинья Михайловна торопливо поднялась с колен и, вытирая подолом передника лицо, сказала с придыханием:

– На радостях это мы. Веруня приехала.

Первой к Вере подбежала Надя. Обнялись, смеясь, расцеловались.

Игнат смотрел на сестёр и не спешил с поцелуями – не мужское это дело, – хотя едва сдерживал желание броситься сестре в объятия.

Вера сама подошла к нему, пригнула его голову к себе, поцеловала в вихор.

– Какой большой стал и сердитый, – потеребила соломенные волосы брата. – Ну, на́ тебе за это подарок, – подошла к чемодану, открыла и вытащила из него чёрные ситцевые штаны, шаровары!

Игнат, обрадовано заулыбавшись, принял их и прикинул на себя – таких ни у кого в деревне нет! Последний крик моды.

– Я вам с Лёнькой одинаковые привезла.

– Спасибо, Верунчик! – крикнул подросток и побежал в горницу, на ходу расстегивая свои латанные-перелатанные штаны, которые ни грех было бы пустить на половую тряпку.

– А это тебе, Надейка, кофточка. Не знаю, в пору ли? По себе прикидывала. Мы теперь с тобой не больно-то разные.

Надя взяла кофточку, она оказалась шелковой, прижала к губам и глубоко-глубоко вдохнула. Какие же подарки сладко духмяные!

Выскочил из горницы Игнат и закружился. Куда девалась взрослость…

– Ну, как? – восторженно спрашивал он, разводя широкие штанины в стороны. – Лихо?

– Цыга-ан! Настоящий цыган, – отвечала за всех мать, виновато и радостно поглядывая на Веру, та улыбалась с тихой радостью, за которой угадывалась грусть пережившего немало человека.

Игнат, подпрыгивая, убежал на улицу.

Надя ушла в горницу. А Вера тем временем набросила матери на плечи цветастый широкий платок и выложила на стол сатиновый отрез на платье. Ефросинья Михайловна всплеснула руками, протестуя.

– Ты что же это? Зачем? А себе?..

– Что себе?.. Себе подождёт, – засмеялась Вера. – Вы тут совсем обносились. Забыла, поди, когда последний раз обнову справляла?

У Ефросиньи Михайловны к горлу подступил комок: да что же ты со мной делаешь, девочка моя?!.

Вышла Надя. Голубая кофточка пришлась ей впору, и девочка сразу повзрослела, посерьезнела, даже осанка изменилась; девушка стала более женственной, грациозней.

– Ах, Надька!.. – только-то и смогла выдохнуть мать.

Ефросинья Михайловна, глядя на дочерей, улыбалась ломаной улыбкой сквозь слезы, и видела перед собой уже не девочек – девушек. Выросли. Как выросли!.. Худо, правда, тяжело было, но выросли. И понимала, что не будь старшей дочери, не отослали бы её тогда на тот военный завод, смогла бы она одна поднять такую ораву? Вот уж воистину: не было бы счастья, да несчастье помогло. И радость, и горе до слёз. Каково-то у них дальше сложится? Войны бы не было больше, войны…

Вбежала Нюська. Она с порога бросилась к Наде, приняв её за городскую сестру; та показалась ослепительно нарядной – в новой кофточке, в платке на плечах (в Верином подарке для матери), стояла перед зеркалом, висевшем на стене, и красовалась.

– Здорова, сестрёнка! – припала девочка в сестре.

– Здорово! Давно не виделись, – засмеялась Надя, а вместе с ней и все присутствующие.

Девочка растерянно отстранилась от Нади и вопросительно посмотрела на мать. Рядом с ней на скамейке у окна, из-за света, падающего из него, не разглядела гостью, сидела девушка. Она показалась совсем молоденькой, щуплой и как будто бы смахивала на мамку, как Лёнька сказывал, но ничуточку не походила на Тоську Середкину. Ну вот, ни капельки!

Нюська кисло хмыкнула – тоже мне, городская! И неохотно подошла к сестре.

Лёнька задержался на улице. Игнат щеголял перед пацанами обновой, разводя в стороны широкие штанины.

– Цыганские, – говорил, – сестра с городу привезла!

И Ленька заспешил домой. Его тоже ждала радость.

Твист

Тимофей Карпук вернулся в родное село. Внешне он был таким же, как и до войны: высоким, плечистым, сильным, но поседевшим и с дышащей ямой над правым глазом – пролом черепа – отчего глаз при волнении воспалялся, багровел, контрастно выделяясь на лице.

– Вот здесь, – остановилась старуха Марфа, указав палкой на едва заметный бугорок, и вздохнула.

Могучие плечи солдата поникли, и сухие желваки застыли на скулах. Соседка поднесла конец старенького платка к губам, глядя на него сочувствующе, и, пришамкивая беззубым ртом, говорила:

– Свирька Гурко пристрелил её. На сносях уж была. Шла по воду, а он с ихними ахфицерами ей навстречу. Сказал им, шо она учителка и шо мужик у ей партейный. Они ему: гут, гут. Тот, антихрист, возьми, да и пульни ей прямо в живот. Ох, и мучилась… Убил бы сразу, так нет, покуражился. Павушка ему перед смертью сказала, что ты за неё отомстишь…

– Отомщу, бабушка.

– Эх-хе. Ихде ж ты ево теперь сыщешь, милок? Умёлся вместе с фрицугами. Поди, в Германии сховался.

– Такую нечисть они с собой не возьмут. В Союзе он. Мать должна знать. Или будет знать, даст ей весточку. Жива она?

– Анисья? Шо с ней станет? Ни голода, ни холода не знавала.

Над распадком стояло солнце. Поля цвели разнотравьем, среди которых чернели ещё неубранные орудия, танки. Село, некогда цветущее, утопавшее в садах, теперь было обугленное, нежилое, изрытое воронками. И как бы солнце весело не светило, оно не могло скрыть грустной картины послевоенного разорения, бедности и разрухи.

– Что же не с людьми похоронили?

– Так никак нельзя было. Никого не подпускали. Да и боялись мы идтить к ней. Ночью, уж мёртвую, утащили сюда, тут и прикопали.

Солдат понимающе кивал головой, не стесняясь скупых слёз.

Бывший армейский разведчик, Тимофей Семенович Карпук, Герой Советского Союза, остался в родном селе на Смоленщине, возглавил колхоз и приступил к восстановлению разрушенного войной хозяйства.

* * *

Из Березовки в Сураново, что находятся в южных районах Кемеровской области, ехали на председательской одноосной бричке Мирон Прокопович Суранов и Иван Гуськов. Поскольку Мирону Прокоповичу нужно было проезжать деревню Тёплую, он и прихватил в Березовке попутчика. Иван, или по-деревенски – Гусь, был человеком разговорчивым, и так как ехать не ближний свет, почти восемь вёрст, то такой попутчик оказался кстати. И рассказчик он своеобразный, не болтливый, но если поднималась какая тема, то «обсасывал» её со всех сторон, доходил до самого донышка. Поэтому с ним в дороге не было скучно, и Мирон Прокопьевич много чего узнал из жизни соседей. И когда он спросил о Гуркове:

– Так что там со Степаном-то вышло?

Гусь с удивлением повернул к нему голову на длинной шее и сам спросил, как крякнул:

– А ты чо, не в курсе разе?

– Да так, в общих чертах.

Гусь достал пачку с папиросами, одну папиросу подал председателю, другую сунул себе в рот. Закурили.

– Тут, знашь, Мирон Прокопыч, в двух слова не перескажешь.

– А куда нам торопиться? Дорога дальняя, говори да говори.

– Ну, ты Гуркова знашь?

– Конечно. Не раз встречались по-соседски. Да и в районе, на районных собраниях, партийных, да и в райкоме партии на докладах. Встречались, как же. Ничего мужик, толковый.

– Толковый-то, толковый… Да бедовый, змея его уродила…

Гусь помолчал, как бы собираясь с духом, с мыслями, потом сказал:

– Ну, так слушай, да не сбивай. У меня от этого мысля становится корявой.

– Хорошо, не буду.

– Начну-ка я с самого изначала. Ты не знашь, как он у нас оказался?.. – начал свой рассказ Гусь. – Дык его это, сам Михаил Иванович наш, Вымятнин, привёз. Это когда возвращался с фронта домой. Он, вишь ли, по доброте душевной накупил три чемодана и вещмешок подарочного барахлишка и маялся с ними на станции Тайга, что у нас тут на перепутье между Москвой, Владивостоком и Томском. Война кончилась, мужик на радостях домой едет, ну и как тут родных не порадовать гостинцем. А родни у него, почитай, вся наша деревня Тёплая. Я и то ему племянником довожусь. Троюродным, всё одно ж родня. А тут одних только детей, не считая своих троих, десятков …надцать наберётся. Взрослых – на пальцах не перечтёшь. Так что каждый чемодан по пуду, а то и боле будет. Солдаты, ехавшие с ним по пути домой, помогли выгрузиться из эшелона, а дальше – как знаешь. Связал себя ими, не хуже пут. Тут, говорит, надо билеты брать до разъезда Сураново, да на Томскую ветку перебираться, ан, не отойти. Одно понесёшь ты, другое кто-то, да не к твоим воротам. Хоть бы знакомых, кого встретить?..

Стоит наш Михал Иваныч на перроне привокзальном, думу думает: как бы это сноровиться, да как бы ухитриться? Тут видит, сержант сидит на скамейке, смотрит задумчиво под ноги и будто бы никуда не торопится. Так Михал Иваныч тут к нему и подкатывает. Тот:

– Здравия желаем!

Этот:

– Здравия желаю!

Сержант сутуловатый, на вид крепкий, говорит, мужичок, да ещё при двух медалях – бывалый вояка. Ну а нашему Михайлу Ивановичу перед ним тоже краснеть не приходится: выше него ростом, взгляд, сам знашь, всегда живой, приветливый, да и грудь в немалых наградах и на плечах офицерские звезды – лейтенант и притом старшой.

Разговор меж фронтовиками известный: откуда, где воевал и так далее. Когда же речь зашла – кто и куда направляется? – сержант посмурнел.

– Родом из Смоленщины, говорит, да немила мне родная сторона. Родителей, жену фашисты расстреляли, и подался я, куда глаза глядят. Вот и прикатил в Сибирь. Возьмёшь с собой, так и с тобой пойду.

От такой милой навязчивости Михал Иваныча чуть слеза не прошибла. К горю-то чужому мы, тёплинцы, завсегда чуткие. Порой и про свои болячки забываем. Так что Михал Иваныч был вдвойне рад: человеку пособит и тот, ненароком, ему подмогнёт.

Вечером, когда с полей возвращались колхозники домой, им повстречалась подвода, гружённая вещами, мужичок-возница нанятый на разъезде Сураново за приличный куш и два бравых воина. Михайла-то Ивановича мы сразу признали и с радостью. Другой как будто – ненашенский.

В тот же вечер у Вымятнинских ворот была настоящая ярмарка. Сбежались все: и кто хотел увидеть вернувшихся с фронта, и кто желал получить даровые подарки. В одночасье Михал Иваныч остался при пустых чемоданах и при своих интересах. Но зато гуляла Тёплая от души и всем миром.

Вот так и появился в нашей деревеньке Степан Данилович Гурков. Стал жить да поживать и в меру сил трудиться. Смекалистый, а потому пришёлся колхозу ко двору, и в тот же год был введён в правление, где занял место скромное, но уважаемое – учётчика. А поскольку был он человеком партейным, то и тут ему была оказана знатная честь – предложили в секретари парторганизации. Но Степан Данилыч оказался человеком скромным и от столь высокого поста себя отговорил; дескать, он человек тут новый и на первых порах ему не помешает и в замах походить.

Не женился он долго. Немало находилось ему невест: и вдов, и незамужних девок. Но горе, тисками сжавшее сердце солдата, никак не позволяло решиться на повторный брак. И только, когда Михал Иваныч, уже будучи в должности председателя колхоза, сам взялся за сватовство, подтаял в душе Степан Данилыча ледок. Не стал супротивиться другу. Всем колхозом срубили Гурковым дом пятистенок, помогли обзавестись домашностью, скотиной. За что Степан Данилович и его молодая жена Фая были душевно благодарны народу и исправно трудились, выплачивая колхозу ссуженную им сумму. Да и у самого Степана Данилыча, похоже, кое-какие деньжата водились. Может, что с войны подкопил чего? Так что, домик им не в тягость обошёлся.

Потом у них появились детки: Игнат, Анисья, Иван и Маняша. Дети, хоть и не цветы, а при достатке, да при родительском догляде растут как васильки на пшенишном поле. Посмотреть на них со стороны – одно удовольствие.

Степан Данилович редко выезжал из Тёплой. Да и куда? Были бы где родные. Правда, Фаина Михайловна как-то заикнулась, дескать, может, съездим к тебе, Стёпа, на родину? Так Степан Данилыч аж в лице сменился. Фая язычок раз и прикусила – зачем разворошила человеку рану? Прости, Стёпушка, не подумала…

Но раз в год или в два он всё же выезжал в раён, а то в область, может и ещё куда слетает, ведь дела бывают и дальше родной поскотины забрасывают, страна-то необъятная. Поотсутствует с недельку, а то и две, и домой возвертается. Подарков разных, бывало, понавезёт, гостинцев: радуйтесь детки, радуйся жинка. Семьянин, куда с добром. Да и умел жить, не чета нам, Мирон Прокопович.

Пожалуй, в их дворе у первых появился мотоцикл, не говоря уж про радио. Телевизор, во-о-от с такусеньким экранчиком, как зеркальце на сундучку, – тоже у них. Первое время им от ребятни отбоя не было – диковинка, кино на дому! А этот самый, который рок-н-ролл, шейк, твист мотает, магнитофон, тоже из их двора первым заголосил. Диковинные вещи чёрте знает, откуда и доставал, на что покупал. Всё через них до нас доходило, вся цибилизация. Если бы не Гурковы, так бы и была наша деревня темней сеней.

Степана Даниловича всякий встречает с почтением. Со всяким он может побеседовать, присоветовать, обнадёжить. И всё за так просто, из уважения значит. Но пьяных сильно не уважал. Ну, просто не перенашивал лютой нетерпимостью. Как завидит, что кто-то, да не дай Бог, в рабочее время, в страду в особенности, пьяный по деревне шатается – несдобровать. Как хватит за шиворот и давай под бока ширять, у бедолаги аж пена изо рта, а то, бывает, и красная. Умело бьёт, с понятием, и молча. На себе раз прочувствовал, думал, не оклемаюсь. Паразит. И попробуй, пожалься. Откуда такое не милосердие, прям-таки жестокость. Это к людям. А к животной твари. Свою собачку не пощадил, погубил.

– За что это? – спросил Суранов, слегка пошлёпывая лошадь вожжой, чтоб не заснула на ходу.

– Была у него лаичка какой-то особой масти, из питомника откуда-то. Ну и не по его спросу слюбилась с местным кавалером. Да уж ушла бы с ним куда подальше. Так нет, притащила его за собой во двор. Своим щастьем поделиться што ли. А Степан Данилыч хвать их за загривки, через колоду перекинул и отрубил топором любовную привязку. Собачки с криком в стороны и со двора. Долго выли. Так и издохли за деревней.

– Ой-ёй… – покачал головой Мирон Прокопович.

– А как он ловко свиней умел колоть… Вот взять меня. Тоже не в городе воспитан, кое-какие навыки имею по ентому делу. Умею и освежевать нетель, овцу, зайчишку ли. Но как он это проделывает – это ж, я скажу тебе, искуйство в лучшем виде. К седьмому Ноября, по первым заморозкам, как мясник по деревне ходил. Какой бы боровок упитанности не был, а войдёт в хлев, за левую переднюю ногу только дёрг – тот и взвизгнуть не успел, – нож уже в сердце. Класс. Мы-то перед тем, как идти на это дело, по кружечке бражёнка примем, али чего покрепче для храбрости и сноровки, настроимся, значит, и перекрестясь… А он без этих самых рассусоливаний. Лёгкая рука. Его и кликал народ на такие мероприятия.

А мужики пытались его приловить, отомстить значит, за себя, да и за собачек кулаки чесались, да не тут-то было. За ружьё схватился. А ружьишко тоже не хреновенькое, с двумя стволами, с резным окладом. И при себе, как оказалось, всегда ножичек носил с выкидным лезвием. Побаиваться стали. Да и председатель его сторону принял. Притихли. Да и понять Михал Иваныча можно, всё ж таки друг, тот, кого он к нормальной жизни вернул, в горе помог, оженил, и отцом крёстным евонным деткам стал. Конечно, крещение тайком проводили – оба ж партейные. Да в деревне-то – што шило в куле. Так что – кумовья, почитай – родственники. Потому и не оставлял его без внимания. Уважал.

Да и как опять-таки не уважать? Был учётчиком, окончил сельскохозяйственный техникум, стал главным экономистом. Весь колхоз, можно сказать, на себе тянул и у председателя, конечно же, за правую руку. Так что, если Степан Данилыч, когда и почешет об кого кулаки, так уж не обессудь. Не шали, брат, в будни, не буди в человеке зверя, гуляй, когда на это время дозволяет.

Правильный, толковый человек, чо уж тут сильно хаять. Деловой и нужный человек на деревне. На все руки мастер.

А ты знашь, хорошо у нас праздники проходят. Взять октябрьские, майские… Да и вы, я слышал, громко празднуете?.. Так и у нас.

Митинг, как всегда. Оркестр наш деревенский, под гармонь и две трубы. Председатель речь толкнёт. Парторг, то есть Степан Данилович. Раньше он не был охочим до речей, до митингов. Всё в сторонке, в публике. А как стал на большую должность, то мало-помалу на людях, на публике появляться начал. Да так бывало скажет, что прежним ораторам и выступать не обязательно. Словом, что гребешком, душеньку пригладит.

Так и повелось потом, где какое торжество, там и Степан Данилович, его яркая речь. Дал же Боже человеку способности, во всём проявляются.

В 65 году, аккурат на 20-летие Победы, такое вдруг у нас стряслось, как будто от мины, только замедленного действия – отдалось аж, эвон когда. И где? – за четыре тыщи вёрст от Смоленщины…

А день-то начался как… С утра празднично одетый народ у клуба. Фронтовики к одиннадцати часам сходятся. При орденах, а кто и в военной форме. Важные, торжественные. Ждут команды. А командует у нас всем парадом опять-таки сам Михайл Иванович. Он по званию старше, капитан уже. Строит колонну не по званиям и не по росту, а по наградам, по заслуженности значит. И как всегда Степан Данилович впереди. Всем строем проходят мимо односельчан – и в клуб, на торжественный митинг. Народу набивается – шишке кедровой упасть негде.

Бывает, к такому дню приезжают люди из военкомата, из раёна. Приглашает Михал Иваныч для солидности и особенности случая. Слово им первым предоставляется, места в президиуме. Всё, честь честью. И на этот раз приглашал, да у них и без нас хлопот нонче, видно, много было – всё ж таки не рядовой день, юбилейный! Ко всем не поспеть.

Но нам зато с другим гостем этот раз повезло.

Герой Советского Союза к нам на торжества припожаловал. Предсталяешь, честь какая – небывалая! Правда, призапозднился чуток, к концу собрания подъехал. Но не беда, праздник-то только начался.

Заходить в клуб уж не стал, чтоб не ломать репиртруар праздника, видно.

– Репертуар, – поправил Суранов.

– Вот-вот, программу дня, то ись. Курил и под окном клуба стоял, слушал ораторов наших, доморощенных. А произносил речь аккурат Степан Данилович. О войне, о боях и сражениях, о гибели миллионов ни в чём не повинных людей, о жестокости фашистских гадов и об их прихвостнях, предателях, сказывает наш вития. Складно так, речисто, как вода по голышкам катится. Тут и камень подточит. И гостя нашего проняло. Курит часто, подкашливает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.